

**История цивилизации в Европе от падения Римской империи до французской революции. Соч. Гизо. Редакция перевода К. К. Арсеньева. Издание Николая Тиблена. С.-Петербург. 1860.**

Нам нет возможности проследить все содержание книги Гизо, указать все те случаи, в которых он, по нашему мнению, ошибался, — для этого потребовалось бы написать целую книгу. Есть писатели, у которых на бесчисленном множестве страниц разведена водою одна какая-нибудь бедная мысль, — пример тому представлял нам Молинали<sup>1</sup>. Выписали мы из него несколько строк, обнаруживающих его намерения, показали двумя-тремя выписками, что он не имеет знаний, нужных для исполнения такой задачи, — и довольно. Гизо не таков. Его исторические сочинения не сшиты из клочков, нахватанных по немногим, большею частью довольно плохим, источникам. Это не дюжинные компиляции с высокими претензиями; Гизо — серьезный ученый; он сам глубоко изучал предметы, о которых говорит, и если у него много мыслей, несправедливых по вашему мнению, то каждая из них заслуживает серьезного опровержения, потому что взята не с ветра. Писать такую подробную оценку всех подробностей мы здесь не можем и поневоле должны обратить внимание лишь на общий принцип его воззрения.

К переводу, изданному г. Тибленом, приложена довольно недурная статья о деятельности Гизо, написанная г. Барсовым. Автор этого предисловия старается определить убеждения политической и ученой партии, замечательнейшим представителем которой был Гизо, и показать русскому читателю, как надобно смотреть на лекции, предисловие к которым составляет эта статья. Едва ли справедливо находит г. Барсов коренную причину недостатков общего взгляда Гизо на науку ту важность, которую Гизо придал понятию цивилизации и которая будто бы помешала ему дать в истории надлежащее место народным особенностям. Правильно или неправильно рассматривает Гизо историю разных народов, но нельзя сказать, чтобы он не замечал разницы между ними. Напрасно также порицать Гизо за то, что он устранил из своего плана рассказ отдельных событий, сосредоточив все внимание на характеристике общего духа событий, учреждений и понятий в каждую данную эпоху. Напротив, эта особенность и составляет главную цену его исторических трудов. Истори-

ков-рассказчиков всегда были десятки и сотни, но никто из тогдашних французских историков не сделал так много, как он, для разъяснения смысла европейской истории. Если бы он вдавался в рассказ фактов, они только отвлекли бы его внимание от существенного предмета его лекций. Посвятив несколько часов описанию личностей и битв периода крестовых походов, он увидел бы, что у него едва остается несколько минут на общую характеристику этого явления. Но справедлив г. Барсов, когда упрекает Гизо за «излишний оптимизм в суждениях об исторических событиях». Действительно, в этом и заключается слабая сторона ученых произведений Гизо. Он находит, что, в сущности, все было очень полезно для человечества. Страшное тяготение Римской империи истощило всю энергию подвластных стран, убило дух народов Пиренейского полуострова, Галлии, Британии, Италии до того, что эти десятки миллионов не могли отбиться от малочисленных варваров, — Гизо находит, что централизация империи была лучшим противодействием прежней муниципальной разрозненности. Водворяется варварство — хорошо и это: варвары внесли в европейскую историю принцип личной независимости. После страшного хаоса водворяется столь же страшный феодализм — хорошо и это: в феодальных замках явилась поэзия. На развалинах феодализма возвышается Людовик XI: он тоже был очень полезен, — в каком отношении, мы уже и не знаем, но все-таки полезен.

Ученым основанием такого оптимизма служило одностороннее понятие о прогрессе. Мы видим, что какова бы ни была Западная Европа в XIII веке, но все-таки она достигла положения лучшего, чем какое было в X веке, а XVII век, при всех своих бедствиях, был все-таки лучше XIII, и нынешнее время, каково бы оно ни было, далеко лучше XVII столетия. В чем же заключаются причины этих улучшений судьбы европейского человечества? Проще всего было бы искать этой благотворной причины в натуре самих европейских народов, которые, подобно всем другим народам, не лишены стремлений к просвещению, к правде и ко всему другому хорошему. Точно так же в людях есть врожденная способность и охота трудиться. Благодаря этим качествам человеческой природы постепенно устраивается лучший общественный порядок и благосостояние. Масса трудится, и понемногу совершенствуются производительные искусства. Она одарена любознательностью или, по крайней мере, любопытством — и постепенно развивается просвещение; благодаря развитию земледелия, промышленности и отвлеченных знаний

смягчаются нравы, улучшаются обычаи, потом и учреждения; всему этому причина одна — внутреннее стремление массы к улучшению своего материального и нравственного быта, а формы, под влиянием которых должен вырабатываться этот прогресс, не всегда благоприятны ему, потому что происходят совершенно из других начал и поддерживаются совершенно иными средствами. Возьмем, например, феодализм. Что общего имел он с трудолюбием или любознательностью? Произшел он из завоевания, целью его было присвоение плодов чужого труда, поддерживался он насилием, ученых стремлений феодалы не имели; они хотели проводить в лености все время, остававшееся у них от войн, турниров и тому подобных занятий. <Точно такова же была и центральная власть, вышедшая во Франции победительницей из феодальных междоусобий. Конечно, никто не скажет, чтобы она имела своею целью любознательность или труд.> Спрашивается теперь, каким же образом могли быть благоприятны прогрессу эти формы? <Они стремились к тому, чтобы держать трудящихся в полной зависимости от себя, а побуждением тут было то, чтобы постоянно захватывать как можно большую часть богатств, производимых трудом.> Французские земледельцы работали и должны были отдавать все, что только можно было взять у них. Этим ослаблялась энергия их труда, да и самый труд беспрестанно прерывался насилиями всякого рода. Потому сельское население осталось во Франции почти чуждо прогрессу. Горожане часто успевали защищаться за своими стенами, но все-таки очень часто подвергались грабежу, да и в случаях удачной защиты постоянная надобность обороняться отвлекала их силы от труда. Можно ли после этого говорить о том, что тогдашние формы помогали труду? Если он достигал каких-нибудь результатов, то лишь наперекор этим формам. Точно то же надобно сказать и об успехах другого элемента цивилизации, о прогрессе знаний. Если они развивались, то лишь наперекор тогдашним формам. Только вот этим и объясняется медленность прогресса, неудовлетворительность цивилизации после стольких веков исторической жизни. Ни в чем, кроме натуры человека, не находила себе цивилизация поддержки, а люди, трудом и любознательностью которых вырабатывалась она, находились в положении чрезвычайно стесненном, так что деятельность их была очень слаба и беспрестанно подвергалась помехам, уничтожавшим большую часть даже того немногого, что успевала она произвести. Едва приобретает она некоторые успехи в городах Верхней Италии, как идет

на нее полчища, и результатом борьбы императоров с папами оказывается подчинение ломбардских и тосканских городов игу кондотьеров; едва начинают расцветать трудолюбие и наука в Южной Франции, как Иннокентий III указывает полчищам Северной Франции эти цветущие области, провозглашая истребление альбигойцев. Так или иначе, та же самая история постоянно повторялась повсюду в Западной Европе.

Но результат, произведенный человеческою натурою наперекор форме, тяготевшей над ним, очень многими приписывается действию формы: при ней, следовательно, благодаря ей, — таков силлогизм, обманывающий большинство историков. По такому силлогизму народ считает зиму причиной летнего плодородия и мог бы считать причиной теплоты, сохраняющейся в жилищах, наперекор влиянию внешнего холода. <Валуа, беспрестанно подделывавшие монету, наказывали других фальшивых монетчиков, перебивавших у них этот выгодный промысел. Есть такие легковверные историки, которые готовы назвать за это Валуа хранителями общественного кредита. Людовик XI старался отнимать области у своих вассалов, чтобы самому получать доходы, которыми прежде пользовались эти вассалы, — множество историков выводят из этого, будто бы усиление Людовика XI принесло пользу Франции, избавив ее от феодальных притеснений; они не хотят сообщить, что притеснения остались в прежней силе, только стали производиться не в пользу прежних провинциальных владетелей, а в пользу центральной власти.>

Гизо не заслуживал бы особенного порицания, если б он не превосходил в этом отношении других историков. Но то, что у них было только следствием невнимательности, оставалось простою ошибкою, у него возведено в теорию, развитую совершенно последовательно. У других историков мы найдем, что множество вредных явлений выставляются полезными, но все-таки остается в их изложении некоторое количество вредных явлений, выставленными как действительно вредные. У Гизо не то: у него каждый значительный факт непременно оказывается содействовавшим прогрессу. Мавры завоевали Испанию, — это полезно было для прогресса, потому что привело в Европу арабскую цивилизацию; мавры, успевшие цивилизоваться в Испании, изгоняются из нее людьми гораздо менее просвещенными, — это опять полезно для цивилизации, потому что европейцы тут получают еще больше случаев цивилизоваться. Следствия победы — введение инквизиции, отнятие всех прав у испанского народа, ра-

зрение всей Европы честолюбием Карла V и Филиппа II — нужды нет, Гизо все-таки называет благотворными явлениями факты, которые привели к таким результатам.

Этот крайний оптимизм происходит у него от характера его политических убеждений: он всегда был приверженцем старины. Новым идеям он всегда делал лишь ничтожнейшие уступки, идеал его всегда был очень близок к средневековому устройству. Напрасно говорят, что он стал реакционером только в последнюю половину жизни, — он с самого начала был реакционером. Он в 1814 году встретил Бурбонов с радостью, потому что они были представителями старинных учреждений. Во время Реставрации он разошелся с крайними роялистами, но это оттого, что они были ослепленные фанатики, а он — человек холодного образа мыслей, желавший не переходить границ благоразумия в реакционном стремлении. Знаменем его всегда была легитимность. До последней минуты он противился низложению Бурбонов в 1830 году, выказал усердие к ним не меньше самых записных легитимистов. Он разошелся с ними опять только потому, что они хотели действовать неблагоразумными, непрактичными средствами: по их мнению, для пользы старинных учреждений надобно было возвратить во Францию Бурбонов посредством силы. Гизо видел невозможность достичь успеха этим путем и, понимая непрактичность желания восстановить Бурбонов, хотел, чтобы Орлеанский дом стал полным представителем всех принципов, которым прежде служили Бурбоны. Он совершенно достиг этой цели. Новое правительство постоянно действовало так, что ничего лучшего не могли бы делать и сами Бурбоны. Несмотря на свой кальвинизм, Гизо покровительствовал иезуитам и помогал швейцарскому Зондербунду, начавшему войну против остальных кантонов в защиту иезуитов<sup>2</sup>. Когда Гизо был министром, французская политика держалась совершенно тех же начал, каким следовал Меттерних. Будучи приверженцем старины по своим политическим убеждениям, Гизо чувствовал надобность выставять с хорошей стороны средневековые элементы и в своих ученых сочинениях. Нет, мы выразились неверно: не то, что он чувствовал надобность выставять их с хорошей стороны, а в самом деле он видел в них хорошего несравненно больше, чем дурного.

Странно может казаться после этого, что у нас, да и в остальной Европе, большинство писателей считает Гизо одним из представителей либерализма. Но причина тут очень простая и обыкновенная; она заключается в неразборчивости общественного мнения, одинаково легко пори-

цающего или превозносящего за несколько пустых фраз, лишенных всякого определенного значения. Помните ли, какая история поднялась у нас из-за какой-то статейки в «Иллюстрации» об евреях,— статейки, не имевшей в себе ничего особенного. Сонм уважаемых литераторов провозгласил за то «Иллюстрацию» органом фанатизма, желающего возжечь инквизиционные костры. Начался такой гвалт, от которого глухие могли бы вновь оглохнуть<sup>3</sup>. Точно так бывает и наоборот. Скажет, например, человек: «я не одобряю насилия»; кажется, что тут особенного? — ведь насилия никто не одобряет. А вот смотрите, уж эта фраза приобрела ему имя либерала. Притом же и положение Гизо или Тьера было совершенно особенное: французские министры были единственными конституционными министрами на континенте Европы. Правда, существовала конституция в Голландии, в Бельгии, в Бадене; но кто когда слыхивал что-нибудь об этих неважных государствах? Внимание континентальных либералов было занято исключительно прениями парижской палаты; и когда они читали речи Тьера или Гизо, так красноречиво говоривших о конституции, они думали: как, однакоже, отличаются эти министры от Меттерниха, преследующего слово «конституция»! Так и упрочилась за Тьером и Гизо репутация либеральных министров. Что они делали,— кому было время разбирать? Слушать слова гораздо легче, чем исследовать поступки.